

## Михаил Осоргин.

### Исповедь Мастера.

Дорогие братья, сегодня я выступаю перед вами не по какому-нибудь вопросу, а просто — с исповедью мастера. В комитетских собраниях мы часто выслушиваем учеников, их первые масонские впечатления. К ним мы относимся с предвзято добрыми чувствами, со сдержанностью и, признаемся, снисходительностью. Я жду от вас тех же добрых чувств и не жду снисхождения. Я буду очень откровенен, но без задора и без желания сражаться. Раз это — исповедь, я буду говорить преимущественно о себе.

Я был посвящен 22 года тому назад в итальянской ложе «Venti Settembre» великой ложи Италии. Меня ввел туда русский брат, уезжавший на войну (1914) в Россию, чтобы хоть один русский остался в рядах итальянского масонства. Я вошел из любопытства и любознательности, а так как меня приняли с большой ласковостью, то я до сих пор сохраняю самые лучшие чувства к моей ложе-матери, хотя за короткое время пребывания в ней (всего два года) я не получил от нее ничего ценного в масонском смысле. Это была ложа в упадке, довольно мертвая, слабо посещаемая. Ее председателем был Р.П., очень известный масон, ставший, как я слышал, фашистом. Гранмэтром ордена был С.Ф.

Великая ложа была не в ладах с «Великим Востоком» Италии, в котором преобладали социалисты. Но оба масонских послушания занимались одним: политикой, а в тот момент начавшейся войной, в которую должна была вмешаться и Италия. Копья были направлены против Австрии, тройственный союз подвергался самой жестокой критике, и как масон я за год до вступления Италии в войну знал, что это неизбежно случится. Когда мне пришлось уехать из Италии в Россию, я скоро забыл о ложе и о братьях, настолько забыл, что сейчас ни одного не помню по фамилии; никаких личных отношений с ними вне храма у меня не создалось. От производств в степени я уклонился, хотя мне готовили масонскую карьеру, о чем меня даже предупредили. Я попросту не являлся на свои производства, что братьев удивляло. И я уехал из Италии учеником.

В моей жизни это было эпизодом в ряду многих; жизнь была достаточно полна событиями. Я почти не вспоминал о своем масонстве и за 11 лет никогда никому не говорил о нем, даже моей тогдашней жене. В мае 1925 года мне предложили вступить в русскую масонскую ложу «Северная Звезда» в Париже. Так как оказалось, что я уже масон, то меня аффилировали 6 мая, а затем произвели в мастера, минуя 2-ю степень. Таким образом, на этих днях истекает второе одиннадцатилетие моего масонства, весьма отличное от первого. Мое прежнее равнодушие сменилось большой верой в масонство и, я думаю, достаточным прилежанием. Во всяком случае масонская работа, какова бы она ни была по ценности, занимает большую часть моей жизни и моих духовных интересов. Все мои личные связи, прежде бывшие, я прервал, оставив только связи с теми, кто мне стал близок по Братству. Все, что я пишу, в той или иной мере связано с масонскими идеями, как я их понимаю. Если сейчас лишит меня Братства, то у меня останется только жена, которая занята ученой работой по русскому масонству, отчасти в силу моего же влияния.

Могу смело сказать, что я пленник Братства вольных каменщиков, и вероятно, на весь остаток моей жизни. По всему этому я считаю, братья, что имею некоторое право относиться к нашему Братству ревниво, иногда требовательно, порою страстно, поскольку способны к страсти мой возраст и железной цепью жизненных событий измятая и исцарапанная душа. Когда-то Братство было мне мило, как монастырская ограда, отделявшая меня искусственно от злорадного дня. Это время благополучно прошло, вероятно потому, что мне удалось отделиться от злорадных политических, литературных и даже житейских прочным и вошедшим в привычку малым к ним вниманием; попросту — укатали Сивку крутые горки. Известную роль в этом сыграло, конечно, и масонство. Вместе с тем по отношению к нему я стал требовательнее. Уже не удовлетворяет меня, как было прежде, приятная осуществленность союза взаимно благорасположенных людей, находящихся в

своей среде успокоение нерв, завидную терпимость друг к другу, моральную, а часто и материальную поддержку и вообще все то, что составляет неоспоримую выгоду, а если хотите, то и красоту масонского тесного общения. Я это очень чтю и не хочу умалять высокой ценности наших личных и общественных отношений. Но хотел бы найти в масонстве гораздо большее.

Я мечтал бы найти в нем настоящее оправдание нашего бытия, моего и вашего присутствия на этой земле, не ко всем ласковой. Я боюсь, что без этого Братство будет для меня по-настоящему ценно только до тех пор, пока я живу в этом городе, на этой улице, по соседству с вот этими людьми — со всеми вами, с которыми меня связывает упроченная годами приязнь. Но жизнь, много раз со мной шутившая и не всегда хорошо и жалостливо, может унести меня отсюда в другую страну, втолкнуть в другую среду, где не так-то быстро завяжутся тесные и приятные связи. Что же тогда останется от моего масонского благополучия? Ряд милых воспоминаний и адресов со знакомыми именами? Одно прошлое?

Но тогда, значит, масонство было для меня только счастливой случайностью, временной эпизодической удачей, а не смыслом жизни. Одиннадцать лет оно меня не занимало, еще одиннадцать лет было нужным, а дальше — как придется? Нет, с этим мысль как-то не мирится! И вот, братья, я пытаюсь так взрастить акацию моего масонского мироощущения, чтобы ее корни проникли и в прошлое и в будущее. Я потому пользуюсь этим обычным масонским символом, что в своем саду я посадил несколько лет тому назад белую акацию, которая, разросшись, пустила толстые корни и на участок моего соседа и на улицу, так сказать, и в среду братскую, и во внешний мир. Каждый садовник знает, что, куда идут корни дерева, туда идут и его ветки; и теперь моя акация цветет не для меня одного, и старый символ стал для меня живым. Применяя его к теме нашего разговора, я хочу, чтобы мои ощущения или мои познания вольного каменщика соединили меня крепко и навсегда не только с членами моей ложи и не только с братьями-соседами, русскими или французскими, но со всем мировым масонством, с вековыми исканиями потерянного, а может быть, еще никогда и не сказанного слова, исканиями человеческой правды, в которую можно уверовать и ради торжества которой стоит жить.

Пусть она будет неполной, пусть временной, но такой, которая бы меня завоевала, как в дни, еще недалекие, захватывала и вела вперед многих из нас чистая и прекрасная вера в возможность создать счастье своего народа внезапным политическим переворотом, за которым наступит пора свободного развития каждой личности и светлая эпоха социального равенства и справедливого распределения житейских благ в общем уравненном труде. И как тогда за эту обманувшую нас идею мы были готовы отдать жизнь, так и теперь отдать бы всего себя новой вере, даже хорошо зная, что и она также обманет; потому что если что-нибудь положительное дало мне и вам масонское учение, то именно убеждение в зыблости истин, в естественной смерти каждой из них и в вечном возрождении идеальных человеческих порывов. Я не только не кляню своего революционного прошлого — я память о нем чтю и люблю. Его сладкий обман был настоящим счастьем, я ничего так не хочу, как еще раз пережить подобное. Такие ошибки — только вехи единственно правильного и единственно верного пути к истине.

Братья, я не меньше других старался понять основы нашего Братства, сумевшего выстоять века и не подающего признаков гибели. Я усиленно изучал его историю — в связи с общим развитием человеческой культуры, старался вникнуть в несколько трудную, спорную, логически не постижимую идею «посвященности», в нашу символику, в поэзию и в сумбур нашей ритуальной жизни, в многообразие определений масонства, часто непримиримых, в его исторические судьбы с периодами расцвета и падения, высокой нравственной чистоты и откровенного шарлатанства, в догму его адогматичности и несвободу толкования свободы, в его государственную лояльность и его анархизм, в отвлеченную высоту и мещанские прописи его морали, в его аполитичность и прислуживанье политическим партиям, в его религиозность и его атеизм, во все его исповеди и все противоречия.

Думаю и надеюсь, что я был хорошим и добросовестным подмастерьем, хотя никогда не имел этой символической степени. Знаю шаги вперед и шаги уклонив сомнения. Как средний масон знаю

букву G, и Акация мне известна. И я принимаю масонство не как идеальный союз, а как многогрешное человеческое общество, у которого в любой период его жизни много достоинств и много недостатков. Но чем больше я его узнаю, изучая по книгам и по общению с братьями, тем больше увлекаюсь им именно как учреждением человеческим, слишком человеческим, что так отделяет его от безгрешных церквей и беспорочных политических программ. В нем нет холодной красоты безароматных камелий — и много горячего очарования медоносных цветов. Его легче и лучше неразумно любить, чем сознательно уважать. Вероятно, потому в братской среде ценнее быть добрым, чем быть умным, больше хочется верить, чем знать. И потому же самому масонство есть искусство, а не отрасль научной дисциплины, практика добрых отношений, а не свод правил нравственности, ощущение посвященности, а не логическая гимнастика.

И вот, братья, не то чтобы придя к такому заключению, а вернее сказать, пропитавшись таким восприятием Братства вольных каменщиков, я понял, что оно не есть создание ума, а есть отклик в человеке его природы. Оно наша естественная, не подчиненная разуму и логике склонность, так сказать, протест рожденного нагим против навязанной ему одежды, жажда подставить спину и грудь под лучи до сердца прожигающего солнца, под прямой свет истины, безо всяких посредствующих стекол и приборов, защищающих от действия пламени, но уменьшающих свет, дающих нам о нем неправильное понятие. Я говорю образно и метафорически, потому что и не нахожу подходящих обыденных слов и боюсь, что они не передадут моей мысли верно. Но ведь так именно летел к солнцу Икар, так и сейчас летит пчела в брачном полете. Если все же попытаться изложить то же языком прозы, то придется сказать, что истинный масон хочет познать наитием то, на что никогда не дает ответа человеческий опыт. Так он хочет понять мир, так найти линию своих отношений с людьми и со всем живущим, дышащим и чувствующим. Так он хочет и созидать, минуя жилой дом — непременно храм всеобщего счастья. Потому что только ради этого, ради подавляюще огромного можно согласиться свершить герметический круг жизни, пройдя через все ужасы, которыми она утыкана, как лезвиями ножей, ежеминутно кровянещих наше бытие. Кроме наших обычных символических вопросов, приводимых в каждом масонском учебнике: «Откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем?», этих трех вопросов голубого масонства, есть еще вопрос «Зачем?», т.е. во имя чего? стоит ли? И ответ может быть только один: «Если уж неизбежно сгореть, то увидав ничем не заслоненное солнце!»

Для вас, братья, может оказаться неожиданным и не обоснованным мой последний вывод из моих все тех же не логических, а скорее всего, мистических построений или, если хотите, настроений. Логически мне его никогда не обосновать, и вряд ли кто-нибудь смог бы на моем месте. Я пришел к выводу, что не существует каких-то особых масонских правил поведения, поступков, отношений, практической масонской деятельности. Все, что я делаю, есть результат моего профанства и моих личных человеческих качеств. Как масон я только созерцатель и мыслитель, только посвященный и познающий. Как у посвященных всех времен, объект моего созерцания — природа, единственный учитель и единственный источник познания. Природа есть бесконечное движение жизненных сил, с которыми я хочу быть и не могу не быть в теснейшем и сознательном общении как часть природы. И это уже не метафора, это, я бы сказал, широкое раскрытие глаз, введение своего сознания в безграничный мир миров в качестве его действующей и познающей единицы, в мировое Братство всего живого.

Я не знаю, как это яснее выразить, и только повторяю, что это не метафора, потому что для меня это — чистейшая реальность. Попробую сказать так, что мир профанный, т.е. мир лишь человеческого общения, я не выключаю, но сливаю с бесконечно большим и неизмеримо многограннейшим и многоцветнейшим миром всего того, что присутствует в движении жизненных сил, что живет как личность и участвует в бесчисленных комбинациях общения. Я не знаю, где пределы моего нового живого мира: в животном, в растении, в протоплазме, в протоне, в мыслимом и недоступном мысли бесконечно малом, в математической точке, — этот мир мне предстоит столь же бесконечно открывать, но я уже заранее безмерно обогащен одной перспективой его познания, приближающей и самого меня к бессмертию в каких-то иных, но все же живых формах.

Эти мысли я уже не в первый раз пытаюсь развить в наилучшей для меня и простейшей форме, учитывая, что не все над этим задумываются, не все обязаны любить то, что люблю я, и что в утверждении мною такого мироощущения есть какая-то невесомость, неотчетливость и как бы недоговоренность. Когда заходит речь о природе, в обычном представлении с неизбежностью возникают поля, леса, сады, реки и нечто вроде зоологического сада. Все это верно постольку, поскольку скорее включается в понятие природы, чем деловое заседание, библиотека или ресторан, но и неверно, потому что неполно, потому что движение жизненной силы можно наблюдать всюду и всегда. Открытая чашечка цветка не может не захватить внимания созерцателя, но наше сознание, всегда склонное к антропоморфизму, может одухотворить и превратить в живое существо книгу или знакомую вещь. Есть, например, целый ряд книг, которые я не могу не одушевлять или даже не очеловечивать; мне кажется, что я могу звать их по имени и отчеству и пожать им руку; во всяком случае с ними я не один. Вспомните, как говорил Пушкин:

«Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный  
И, долго слушая, скажите: «Это он!  
Вот речь его...»

Такова книга. Но и червяк, который точит ее переплет, тоже новое существо открываемого мною для себя мира, и пролетевшая мимо муха, и кусающая меня блоха. Им, живым или мною оживленным я противопоставляю что-то мертвое, которым может быть камень, город, мысль, понятие и даже, к ужасу моему, человек. Тут на первый взгляд ужасная путаница и неразбериха, но в каждом случае мое сознание проясняется понятием или ощущением того, что я называю «живой силой природы», началом действующим и говорящим о будущем, о рождении будущего из того, что я сейчас созерцаю. Не требуйте от меня, братья, лучшего определения, оно вряд ли возможно. Постарайтесь понять не анализом мысли, а встречным чувством, если это встречное чувство в вас присутствует; а если его нет, хотя бы в зародыше, то понять все равно нельзя, как нельзя понять искусства, не имея к нему врожденного влечения.

Определить понятие природы пытались все философы, но точного определения ее никто дать не мог. Под природой разумели неизменные законы и существенные свойства, постоянно принадлежащие каждой вещи. Разумели вселенную, мир со всеми видами существ и всеми степенями жизни — определение, которое для меня ближе других. Разумели все, что подчинено слепому и безотчетному закону причинной связи явлений, тем отличая ее от сферы жизни сознательного существа, руководствующего ее целью и самосознанием. Но, кажется, все сошлись на том, что нет точной грани, отличающей природу от нравственной жизни, и что определение этой грани и есть вечная задача науки (в общем смысле слова) и задача жизни.

Все это я знаю, и знаю, что в какой-то, мне недоступной мастерской степени посвящения и приобщения моего сознания культу природы, я должен буду создать себе ее сильное философское определение. — Но только что раскрыв глаза, только что приотворив дверь этого нового сознания, я, как ученик, получаю для обработки лишь грубый камень, лишь реальную, простым глазом, микроскопу и телескопу видимую природу, небо, землю, горы, лес, животных, насекомых, растения, кривой разрез пестика, строение протоплазмы, бешеный танец молекул в микрокосме, вихрь туманностей в макрокосме — все, что отражает радужная оболочка моего глаза и может воспринять мой ум, моя жадность созерцания, моя любовь к познанию, наконец, моя естественная потребность жить и общаться с живым миром. Как скромнейший из посвященных я склоняюсь над цветком, жуком, муравейником, собачьей конурой — и я только смотрю, только смотрю. Вот почему я говорю, братья, что моя природа не символ, а реальность. Я покажу вам ее дома, сидя за столом, и, конечно, охотнее покажу ее в моем саду.

Предмет моего огорчения, и даже большой душевной тревоги, что я не в силах не только доказать, но и сообщить на ухо всей важности этого мироощущения, не для меня только, но, как я уверен, и для другого, для всех. Если бы я говорил еще несколько часов о том же, большего я все равно выразить не мог бы. Это происходит, вероятно, потому, что мы слишком привыкли темнить ясные и здоровые понятия, как Природа, как движение жизненных сил, как мир живых существ,

отношением к ним, как к чему-то вне нас стоящему, более символическому, чем реальному. В этом может сказаться известная извращенность нашей собственной живой человеческой природы и оскудение в нас подлинной жизненности, под влиянием искусственности всего нашего быта, наших надуманных законов, наших догматов личной и общественной морали — всего того, что мы так неудачно для себя создали и от чего так страдаем. Потеряв непосредственность ощущений, потеряли и нужные для взаимного понимания слова. Или, может быть, боимся, что возвеличение интереса к букашке до степени религии простительно профессионалу, естествоиспытателю, но не может заполнить души ищущего отвлеченных истин.

Здесь мне приходится перейти к последнему и труднейшему заключению. Во мне, на данном этапе моего масонства, родилось убеждение, что именно это новое мироощущение и приблизило меня впервые к истинному масонству, правда отняв у меня много прежних уверенностей. Мне кажется при этом, что ни в одной из своих удачных или неудачных догадок о сущности масонства я не оказывался в такой близости к давним, всем известным, но лишь как-то по-казенному, лишь формально известным определениям масонской идеи, которые то исчезают, то вновь всплывают на протяжении всей его истории (как, впрочем, и вообще истории посвяtitельных обществ), проявляя какую-то необычайную живучесть. Говорю об определении его, как союза посвяtitельного пути к познанию бытия, к проникновению в тайны природы. Это определение то делается лишенной смысла формулой, то снова утверждается в своем простом и точном значении, не требующем никаких окольных пояснений и поправок в масонских статутах. Посвяtitельное общество познающих природу. И тогда для меня оживают и наполняются смыслом лучшие из наших символов и красивейшие мифы, положенные в основу ритуалов посвящения, очевидно созданные и введенные людьми моей новой, но в действительности старой как мир веры.

Вместе с тем я получаю критерий для их оценки и их отбора, я уже не обязан бродить впотьмах и руководиться лишь обязательством соблюдать традиции. Тут же попутно, став созерцателем того, что я именую природой, я наконец нахожу почву для утверждения тех нравственных положений, которые я принимал раньше только потому, что доверял их высоте, избрал их из лучшего, что знал и что мне нравилось. Только как созерцатель явлений природы, я могу свободно принять, что в живом движении не существует отвлеченных нравственных догм, как не существует и «найденной истины», потому что ничего подобного нет в природе, так как это несовместимо с понятием вечного движения. Только теперь я могу вполне себе усвоить высоту и важность стимула всего живущего, залога его живучести.

Самое понятие о соборности я никогда не мог реализовать для себя, исходя из человеческих и только человеческих отношений. Но даже поверхностное наблюдение природы, жизнь которой необычайно гармонична и все явления которой тесно между собой связаны и взаимно переплетены, дает мне сразу ясный пример и точный ответ. Никогда раньше вульгарное, то есть филантропическое, клубное, политическое, сентиментальное или общеобразовательное масонство, не могло доказать мне, что человеческая жизнь может быть более или менее идеально пересоздана, хотя бы настолько, чтобы побудить меня жить для будущего, изжить в самом себе естественный, порожденный и настоящим и прошлой историей беспредельный скептицизм. Новое (или, может быть, старое и забытое) масонское мирозерцание, основанное на наблюдении природы и на полном с нею слиянии немедленно утверждает эту потерянную веру картинами подлинного земного рая, высокого и вдохновенного благополучия, гармонического общения, доведенной до идеала взаимопомощи живых существ.

С той же простотой и убедительностью оно отвечает на самые проклятые вопросы о добре и зле, уничтожая самые эти понятия, так как в природе их нет, они придуманы нами. И уже в чисто масонском понимании оно дает мне ясную картину реальности посвяtitельного пути и степеней посвященности. Как это происходит, на каких предметах созерцания, на каких примерах, я не имею ни времени ни сил рассказать. Но я говорю о том, что видел, понял, что хочу еще видеть и посылно понять. Я видел и понял, конечно, еще очень мало. Но если я скажу, что этого уже достаточно, чтобы верить, надеяться и любить, довольно для этих неперменных элементов и факторов возврата жизненности в нравственно полумертвом человеке, то как же мне не

радоваться, что кажется вот мне, малому, чуточку приоткрылась завеса доступной мне и этапу нашего существования Истины!

Я добавлю только, что в ту самую минуту, как мне, масону долгого стажа и, следовательно, некоторой удовлетворенной уверенности, начала открываться возможность обновленного мироощущения и миропонимания, как я немедленно и уверенно возвращаюсь к ученичеству, к сознанию того, и что я «не умею ни читать ни писать, знаю только склады», и что передо мною нет никакой чертежной доски, а лежит грубый камень, к которому я еще не знаю, как приступить. Это также не ново, это давно оговоренный нашей прекрасной символикой вечный путь по герметическому кругу: ученик, подмастерье, мастер и снова ученик. Поэтому-то, братья, сегодня, ни наг ни одет, с кинжалом у сердца, символом примата чувства над разумом, едва выйдя из моей последней черной храмины сомнений, я предстал перед вами с исповедью ученика, которую лишь формально мог назвать исповедью мастера.